

ВСЕМИРНАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭЗИИ

ДАНИИЛ АНДРЕЕВ



Даниил Андреев

Стихотворения и поэмы

«ЭКСМО»

Андреев Д. Л.

Стихотворения и поэмы / Д. Л. Андреев — «Эксмо»,

ISBN 978-5-699-48405-8

Книга стихотворений и поэм выдающегося русского поэта и мыслителя-мистика Даниила Андреева (1906–1959) широко представляет его поэтическое наследие. В нее вошли избранные лирические циклы и поэмы 1928–1958 годов, а также произведения из поэтического ансамбля «Русские боги». Редчайший дар духовидчества, воплощенный в творчестве автора «Розы Мира» с лирической вдохновенностью и мифотворческой мощью, делает его поэзию одним из крупнейших явлений русской литературы XX века.

ISBN 978-5-699-48405-8

© Андреев Д. Л.

© Эксмо

Содержание

Вестник другого дня	6
Стихотворения и поэмы	13
Лунные камни	13
* * *	13
* * *	13
* * *	14
Древняя память	16
* * *	16
Язык любви	16
* * *	17
Из дневника	18
Миларайба	19
Голоса веков	21
Палестинская мелодия	21
Серебряная ночь Пророка	21
Бар-Иегуда Пражский	22
* * *	24
Янтари	25
1	25
2	25
3	26
4	27
5	29
6	29
7	30
8	31
9	32
10	33
11	34
12	35
13	36
14	37
15	38
16	39
Зеленою поймой	40
Русские октавы	40
Брянские леса	42
* * *	42
* * *	43
Дивичорская богиня	44
* * *	46
Весной с холма	47
Плотогон	47
* * *	49
Памяти друга	50
* * *	51

Из дневника	52
Базар	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Даниил Андреев

Стихотворения и поэмы

Вестник другого дня

Жизнь Даниила Андреева так же таинственна и удивительна, как написанные им книги – «Странники ночи», «Роза Мира», «Русские боги», «Железная мистерия». Это начинаешь понимать не сразу.

Некая тайна есть уже в его родословной.

Мать поэта, Александра Михайловна Велигорская, по отцовской линии происходила из обедневшей ветви известного польского рода графов Вильегорских, по материнской – из рода великого украинского поэта Тараса Шевченко.

Отец, Леонид Николаевич Андреев, один из самых знаменитых русских писателей начала XX века, по семейным преданиям, был внуком таборной певицы и орловского помещика Карпова, из рода Рюриковичей, который находился в родстве с такими известными фамилиями, как Тургеневы, Шеншины и Нилусы. Правдиво или нет предание о прабабушке красавице-цыганке – кто знает? Но во внешности Даниила, да и его старшего брата, было нечто индусское, заметное даже на некоторых фотографиях. Знавшие Даниила в юности в эти слухи вполне верили, называли его индийским принцем и не удивлялись его поэтической любви к Индии.

Родился Даниил Леонидович Андреев 2 ноября 1906 года в Берлине, в дачном лесистом предместье – Грюневальде. Здесь отец снял роскошную виллу, окружил жену заботой матери и тещи, попечением берлинских врачей. За границу Леонида Андреева выгнала первая русская революция. «Не хочу видеть истерзанных тел и озверевших рож», – говорил он, уезжая. Тем более что автору «Красного смеха» угрожали: «Надо убить эту сволочь!»

Через две недели после рождения Даниила от послеродовой горячки Александра Михайловна умерла. Новорожденного увезла в Москву бабушка, Ефросинья Варфоломеевна. Увезла в семью другой своей дочери, Елизаветы Михайловны, бывшей замужем за известным московским доктором – Филиппом Александровичем Добровым. Жила семья Добровых тогда в доме Чулкова, на углу Спасо-Песковского переулка. В том же переулке, в храме, изображенном некогда Поленовым на известной картине «Московский дворик», поэта крестили. Крестным отцом его был тогдашний отцовский друг – Максим Горький, или, как записано в метрическом свидетельстве, «города Нижнего цеховой малярного цеха Алексей Максимович Пешков».

Позже Добровы переехали в другой арбатский переулок – Малый Левшинский, выходящий на Пречистенку. Большая часть жизни Даниила Андреева оказалась связана с этим домом под № 5. О нем некогда писал Андрей Белый: «дом угловой, двухэтажный, кирпичный: здесь жил доктор Добров; тут сживал я с Леонидом Андреевым, с Борисом Зайцевым; даже не знали, что можем на воздух взлететь: бомбы делали – под полом...» В год рождения Даниила за устройство тайной лаборатории под Тамбовом был арестован и сослан брат доктора, поручик Воронежского пехотного полка. Андрей Белый, гениальный фантазер, все перепутал, но, перепутав, как всегда, попал в самую точку. Добровский дом не уцелел, революционные взрывы разметали его обитателей и посетителей, отправившихся в свой срок в эмиграцию, в тюрьмы, лагеря, ссылки, и до срока – в преждевременные могилы.

Леонид Андреев переживал смерть жены с надрывным отчаяньем, близкие даже опасались за его жизнь. Позже поползли слухи, что он невзлюбил Даниила, невольного виновника смерти матери. Но сына он любил, хотя все складывалось так, что виделись они нечасто, а позже из попытки взять его к себе на Черную Речку ничего не вышло.

В лирическом цикле Даниила Андреева «Восход души», в котором он с кем-то спорит, благодарно говоря: «Нет, младенчество было счастливым...», отец присутствует тревожной тенью:

Он мерит вечер и ночь шагами,
И я не вижу его лица.

Так отец и существовал в его жизни, чаще незримый, но шагающий рядом, погруженный в свои видения, переживания, писания.

Умер Леонид Николаевич Андреев 12 сентября 1919 в деревне Нейвола. В Москве о его смерти узнали по лаконичной телеграмме, которая появилась в газетах, и многие этому не верили. Такое было время – неверных слухов, путаных сообщений. Шла гражданская война. Не верили и Добровы, пока не получили из Парижа письма от овдовевшей Анны Ильиничны Андреевой.

Добровский дом был для Даниила Андреева родным домом. Домом, помнившим все в его жизни. Кто только здесь не бывал – Горький и Бунин, Шаляпин и Скрябин, известные писатели, актеры, художники, адвокаты... В начале двадцатых в доме Добровых бывал патриарх Тихон...

Многолетний друг семьи Добровых Ольга Бессарабова, называвшая их дом «сердцем Москвы», записала в девичьем дневнике: «Дом Добровых кажется мне прекрасным, волшебным резонатором, в котором не только отзываются, но и живут:

Музыка – самая хорошая (Бетховен, Глюк, Бах, Моцарт, Лист, Берлиоз, Шопен, Григ, Вагнер). Русские и иностранные, разные, но все хорошо выбранные вкусы играющих и слушающих.

Стихи на всех языках, всех веков и народов, и конечно же лучшие, самые драгоценные, а плохим в этот дом и хода, и дороги... нет. События. Мысли. Книги. Отзвуки на все, что бывает в мире, в жизни».

В сентябре 1917-го Даниила отдали в Прогимназию Е.А. Репман, «одну из самых передовых и демократических в Москве, практиковавшую еще до революции совместное обучение», – как он позже писал в «Автобиографии». В том же году гимназия стала советской школой. Находилась она рядом с домом, где жил и умер Гоголь, – Никитский бульвар, дом 9.

К этому времени относятся дошедшие до нас его детские сочинения «История Мышинии», «Описание планеты Юоны», стихи, которые он начал писать одновременно с первыми рассказами в девять лет. Удивляет в этом детском творчестве не только неистощимая фантазия, но и умение создать свой особенный мир, одухотворенный и таинственный, в котором всему автор дает неожиданные причудливые имена.

Воспитанный в православной семье, Даниил был не только религиозен, но и все время ощущал в себе и рядом с собой некое присутствие мистического. Соприкоснулся с ним он уже в отрочестве.

Начало августа 21-го года в Москве было дождливо, потом стало сухо и знойно. В поволжских губерниях начинался голод. В Москву с помощью голодающим собирался приехать Нансен. Страшные вести приходили из Петрограда. Умер Блок. Раскрыт заговор против советской власти профессора Таганцева. Среди расстрелянных – Гумилев. В том августе с Даниилом, которому еще не исполнилось пятнадцати, и случилось то, что потом он счел первым соприкосновением с мистической нематериальной реальностью. Он писал об этом в «Розе Мира»: «Это случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень полюбивший к тому времени бесцельно бродить по улицам и беспредметно мечтать, остановился у парапета в одном из скверов, окружавших храм Христа Спасителя... бытие... открыло передо мной или, вернее, надо мной такой бушующий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывающий историческую действи-

тельность России в странном единстве с чем-то несоразмерно большим над ней, что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывавшими оттуда в круг сознания».

Второе мистическое озарение произошло лишь через семь лет, он запомнил день – 15 апреля 1928, в церкви Покрова-в-Левшине. Эту церковь, построенную в начале XVII века стрельцами и которая была совсем рядом, на углу родного Мало-Левшинского переуллка, уже в следующем году снесут. «Внутреннее событие... было и по содержанию своему, и по тону совсем иным, чем первое, – отмечал Даниил Андреев в «Розе Мира», – гораздо более широкое, связанное как бы с панорамой всего человечества и с переживанием Всемирной истории как единого мистического потока, оно, сквозь торжественные движения и звуки совершавшейся предо мной службы, дало мне ощутить тот вышний край, тот небесный мир, в котором вся наша планета предстает великим Храмом и где непрерывно совершается в невообразимом великолепии вечное богослужение просветленного человечества».

За эти семь лет Даниил Андреев окончил школу и проучился около трех лет на Высших литературных курсах, но, главное, все эти годы были наполнены глубокой внутренней работой, и не только литературной – над стихами, над романом «Грешники», но и духовно-религиозной, с плутаньями, соблазнами, о которых он позже глухо скажет и в «Розе Мира», и в стихотворных циклах поэмы «Дуггур». Это были годы и безответной влюбленности в однокурсницу, Галину Русакову, и нелепой женитьбы на однокурснице Александре Горобовой, и романтических мечтаний о единственной избраннице... Литературные занятия прерывались необходимостью заработать на хлеб насущный, и он работал то тут, то там в качестве художника-шрифтовика, оформителя...

Живший в арбатском переулке, в те довоенные времена тихом, в зеленых палисадниках, с редкими прохожими, в котором по утрам можно было услышать петушиное пение, Даниил рвался за город, на природу, которую он переживал не только поэтически, но и мистически. Его земные путешествия, в отличие от трансфизических, – как он называл странствия по иным мирам – не были дальними. Подмосковье, Таруса и Малоярославец, Крым и Украина... Но, попав летом 1930 года в Трубчевск и побродив по брянским лесам, Даниил Андреев понял, что именно здесь он может найти ту Индию духа, которую никогда не переставал искать. Там, на реке Неруссе Даниил Андреев пережил одно из самых ярких мистических озарений, которое считал прорывом космического сознания. «Меня тогда охватило невыразимое благоговение, и не кровавым смятением, а великолепной, как звездное небо гармонией, стала вселенная», – вспоминал он. Десна и Нерусса, непроходимые чащобы – немеречи, сам древний городок, где княжил герой «Слова о полку Игореве» Всеволод, брат Игоря. Эти места стали для него про-никновенным образом России, вошли в его поэзию, осветили страницы «Розы Мира». В камере Владимирского централа, годы и годы не видя ни одного деревца, ни одной зеленой травинки, он в воображении продолжал свои босые прогулки брянскими лесами.

Тридцатые годы – не только летние поездки в Трубчевск, это изучение востока, его религий и истории, потом увлеченность замыслом поэмы «Песнь о Монсальвате». Менялся он, менялось, становясь все страшнее, жестокое время. Если в 36-м году он еще хлопочет за старшего брата, который хотел вернуться из Франции в Россию, – идет к Горькому, пишет Сталину, то последнее письмо брату в Париж в 38-м он заканчивает многозначительной фразой: «хоть живу я там же, ответа не надо».

В 37-м Андреев начинает работу над романом «Странники ночи». В стихотворении, позже озаглавленном «Из погибшей рукописи», лирически сформулированы его тогдашние настроения:

Помоги – как чудного венчанья
Ждать бесцельной гибели своей,
Сохранив лишь медный крест молчанья —

Честь и долг поэта наших дней.

Даниил Андреев осознанно нес «крест молчания», читая то, что он писал лишь узкому кругу близких друзей, и до поры до времени «гибельное» внимание недремлющих «органов» его обходило. Он и его друзья, та интеллигенция, которой в сталинской Москве места не было, которой, чтобы выжить, приходилось таиться или приспосабливаться, и стали «странниками ночи», героями романа, писавшегося тайком, но жгуче современного: действие в нем происходит в 37-м году.

Тогда же, в 37-м он познакомился с двадцатидвухлетней женой своего друга, художника Сергея Ивашева-Мусатова Аллой Бружес, еще не предполагая, что их жизни окажутся неразрывно связаны и что задуманный роман сыграет в их судьбе такую роковую роль.

В 41-м году, на Пасху, умер доктор Добров, в июле 42-го умерла его жена, которую Даниил называл мамой и которая действительно заменила ему мать. После ее смерти он в одном из писем заметил: «Добровского дома не стало».

В октябре 42-го года Даниил Андреев был призван в армию, хотя по состоянию здоровья к строевой службе годен не был. В январе 43-го в составе 196-й Краснознаменной стрелковой дивизии по льду Ладожского озера и по Карельскому перешейку он участвует в переходе в осажденный Ленинград. «Во время пути по безлюдному, темному городу к месту дислокации, – вспоминал поэт, – мною было пережито состояние, отчасти напоминавшее то давнишнее, юношеское, у храма Спасителя... оно было окрашено сурово и сумрачно. Внутри него темнело и сверкало противостояние непримиримейших начал, а их ошеломляющие масштабы и зиявшая за одним из них великая демоническая сущность внушала трепет ужаса. Я увидел “третьего уицраора”... Это переживание я попытался выразить в поэме “Ленинградский Апокалипсис”...». Поэма стала удивительным мистическим эпосом Великой Отечественной войны, завораживающим читателя своей поэтической поступью:

Косою сверхгигантов скошенным
Казался лес равнин Петровых,
Где кости пней шестиметровых
Торчали к небу, как стерня,
И чудилась сама пороша нам
Пропавшей отдаленным дымом
Тех битв, что Русь подняли дыбом
И рушат в океан огня.

В армии Андреев служил писарем, нес караульную службу, был бойцом похоронной команды, и как вспоминали его сослуживцы, старался на каждую солдатскую могилу положить букетик полевых цветов. Война наполнила его новыми переживаниями и раздумьями о путях страны и народных судьбах. Демобилизовавшись, он снова продолжает работу над романом, дописывая задуманные главы, переписывая законченные. В конце войны его судьба уже неразрывно связана с Аллой Александровной Бружес, художницей, отмеченной, как признавали даже ревнивые современницы, боттичеллиевской красотой. Он писал в стихах, ей посвященных, о тех днях:

С недоверием робким скитальца,
Как святынь, я касался тайком
Этих радостных девичьих пальцев,
Озарённых моим очагом.

Но счастье у очага оказалось кратким. 21 апреля 47-го года арестовали Даниила Андреева, через день его жену. Она вспоминала: «Поздно вечером 23 апреля пришли за мной. Вошли трое. Капитан, возглавлявший визит, вел себя вполне корректно. Обыск был для него привычной и обыденной работой. Он длился четырнадцать часов. Всю нашу большую библиотеку перебирали по книжке: искали роман и стихи, о которых уже знали...» К осени были арестованы близкие друзья, знакомые с романом «Странники ночи», и родственники. При аресте последней обитательницы квартиры Добровых, его двоюродной сестры, дверь большой добровской комнаты забили гвоздями. «Забивали топором, мучительно долго. Невольно представлялся гроб...» – описывала этот арест соседка.

Следствие велось под руководством высших чинов МГБ – Абакумова и Комарова. Обвинение было устрашающим – террор, подготовка покушения на Сталина. Основывалось обвинение главным образом на романе «Странники ночи». В одной из глав описывалась якобы существовавшая на Якиманке подпольная группа, вынашивавшая подобный план. На Лубянке никак не могли или не хотели поверить, что это всего лишь художественный вымысел, пусть и крамольный. Остальные доказательства выбивали из подсудимых в течение полуторогодового следствия. Абакумов в спецсообщении Сталину приводил выбитые из подсудимого малоправдоподобные признания: «...Я неоднократно задумывался над возможностью осуществления своих террористических замыслов против главы Советского государства во время торжественного заседания или спектакля в Большом театре, но опять пришел к выводу, что это неосуществимо, так как во время торжественного заседания или представления свет в зале гасится и делать прицельный выстрел крайне затруднительно, а в антракте трудно улучшить момент, чтобы остаться вне публики, стрелять же прямо из публики я считал бессмысленным самопожертвованием, так как для того, чтобы прицелиться и произвести выстрел, необходимо какое-то время, в течение которого всегда кто-либо из окружения заметит и помешает осуществлению моих намерений...» Сталин абзац с этими словами подчеркнул.

В постановлении Особого Совещания при МГБ СССР говорилось: «Андреева Даниила Леонидовича за участие в антисоветской группе, антисоветскую агитацию и террористические намерения заключить в тюрьму сроком на двадцать пять лет, считая срок с 23 апреля 1947 года. Имущество конфисковать». Вместе с ним по тому же делу было осуждено еще девятнадцать человек, приговоренных к лагерям на срок от десяти до двадцати пяти лет. Они были признаны виновными в том, что «являлись участниками антисоветской террористической группы, созданной и возглавляемой Андреевым, участвовали в собраниях, проводимых Андреевым, на которых высказывали свое враждебное отношение к Советской власти и руководителям Советского государства; распространяли злобную клевету о советской действительности, выступали против мероприятий ВКП(б) и Советского Правительства и среди своего окружения вели вражескую агитацию». Осужденные избежали расстрела лишь потому, что как раз в то время смертная казнь в СССР ненадолго была отменена.

По окончании следствия роман «Странники ночи», несмотря на протест автора, уничтожили, как и весь архив Андреева, в котором были не только его рукописи, но и письма отца. Не хочется верить в гибель «Странников ночи», романа, по свидетельствам современников, незаурядного...

После приговора, 27 ноября 1948 года Даниил Андреев из страшной Лефортовской тюрьмы МГБ был переведен во Владимирский централ. Его сокамерниками здесь в разное время были пленные высокопоставленные немцы и японцы, принимавший отречение царя В.В. Шульгин, академик В.В. Парин, осужденный по ленинградскому делу историк Л.Л. Раков и многие другие заметные люди, часто ни в чем не виновные. Попадались и просто уголовники. Именно здесь, в тюрьме, Даниил Андреев написал главные свои книги, ныне широко известные.

Вот что он говорит о начале работы над «Розой Мира». «Я начинал эту книгу в самые глухие годы тирании, довлевшей над двумястами миллионами людей. Я начинал ее в тюрьме, носившей название политического изолятора. Я писал ее тайком. Рукопись я прятал, и добрые силы – люди и не люди – укрывали ее во время обысков. И каждый день я ожидал, что рукопись будет отобрана и уничтожена, как была уничтожена моя предыдущая работа, отнявшая десять лет жизни и приведшая меня в политический изолятор».

Писать «Розу Мира» поэт стал, пережив новые мистические озарения, когда ему открылись те иноматериальные миры, которые лишь мельком просверкнули пред ним давней июльской ночью на Неруссе. Эти озарения, бессонные ночи на тюремных нарах, уносившие в трансфизические странствия, напряженная творческая работа, тяжелые переживания о судьбе жены, о которой он долго не имел никаких известий, томившейся в Дубровлаге, привели к тяжелой депрессии и инфаркту.

Уже после смерти Сталина, когда в режиме появились некоторые послабления, он написал поразительное по искренности и бесстрашию заявление на имя Председателя Совмина Г.В. Маленкова: «Мое враждебное отношение к советской системе имело в основе своей отрицание не столько экономической стороны этой системы, сколько политической и культурной. В частности, я не видел в нашей стране подлинных демократических свобод и, увы, моя собственная судьба подтвердила это. Теперь, как и раньше, мое отношение к советской власти зависит от той степени свободы слова, печати, собраний, религиозной деятельности, какую советская власть осуществляет фактически, не в декларациях, а на деле. Не убедившись еще в существовании в нашей стране подлинных, гарантированных демократических свобод, я и сейчас не могу встать на позицию полного и безоговорочного принятия советского строя».

Это заявление стоило ему, по крайней мере, лишнего года, проведенного в тюрьме. Освобождение пришло только благодаря неотступным хлопотам жены ровно через десять лет после ареста. В эти годы хрущевской «оттепели» освобождались из тюрем и лагерей многие сталинские узники. Были освобождены и реабилитированы «за отсутствием состава преступления» и осужденные по делу Даниила Андреева. Правда, вернулись не все. Умерла в лагерной больнице двоюродная сестра, в потьминском инвалидном доме умер брат... Поэт чувствовал и себя виновным в их гибели.

Удивляет количество написанного им в тюрьме: блестящие острым юмором новеллы книги «Новейший Плутарх» и работы по стиховедению, монументальная, полная пророческих страниц «Железная мистерия» и небывалый для русской, и не только русской, литературы поэтический ансамбль «Русские боги», оратории, лирические поэмы и циклы, наконец, объемистый философско-поэтический трактат о тайнах мироустройства и человеческой истории – «Роза Мира». Все это, чудом уцелевшее, вначале существовало лишь в черновиках, вынесенных из Владимирской тюрьмы приехавшей за скудными вещами мужа Аллой Александровной Андреевой, о которой он писал:

Ты проносишь искусство,
Как свечу меж ладоней, во тьме,
И от снежного хруста
Шаг твой слышен в гробу и тюрьме.

Те двадцать три месяца, которые Даниил Андреев прожил после освобождения, были месяцами бездомных скитаний и безденежья, тяжелых болезней и упорной работы над спасенными рукописями. Умер он 30 марта 1959 года и был похоронен рядом с матерью и бабушкой на Новодевичьем кладбище.

Даниил Андреев считал: его предназначение – поделиться духовидческим «опытом с другими, приоткрыть картину исторических и метаисторических перспектив, ветвящуюся цепь

дилемм, встающих перед нами или долженствующих возникнуть, панораму разноматериальных миров, тесно взаимосвязанных с нами в добре и зле...». Выполняя эту задачу, пишет он далее: «...я стремился и стремлюсь ее выполнять в формах словесного искусства, в художественной прозе и поэзии, но особенности этого искусства не позволяли мне раскрыть всю концепцию с надлежаще полнотой, изложить ее исчерпывающе, четко и общедоступно. Развернуть эту концепцию именно так, дать понять, каким образом в ней, трактующей об иноприродном, в то же время таится ключ и от текущих процессов истории, и от судьбы каждого из нас», – вот в чем замысел «Розы Мира» и пафос его поэзии.

Даниил Андреев называл свой метод познания метаисторическим, то есть выходящим за пределы земной истории. Его модель мироздания позволяет нам увидеть мир в еще малоизвестной глубине и цельности истории. Увидеть прежде всего с точки зрения этической, религиозно-нравственной.

При жизни поэт не опубликовал ни строки, храня вынужденный «крест молчания». Через двадцать лет после его смерти, главным образом благодаря вдове, которой поэт пророчил: «ты умрешь, успокоясь, когда буду читаем и чтим», появились первые издания. А теперь вышли собрания сочинений Даниила Андреева, его имя присутствует в энциклопедиях и множестве антологий. Перед читателем явился поэт, открывший необычные поэтические миры, чьи видения волнуют пророческой яркостью и глубиной, своеобразием и подлинностью, захватывают лирической силой.

Борис Романов

Стихотворения и поэмы

Лунные камни

Г. Р.

* * *

Пламенея над городом белым
Через стёкла морозного льда,
Её лампа вдали голубела
Над судьбою моей, как звезда.

В убелённом метелью просторе
Дремлет дальняя цепь фонарей, —
О былое, безгрешное горе
Лишь о ней, незабвенной, о ней!

Плавный вальс, и напевы, и пары,
А на стуже, за сонным драпри —
Облечённые в иней бульвары,
Без конца, без конца фонари.

Незабвенной и горькой святыней
Будешь ты до конца моих дней,
Ты, мерцавший над городом иней,
Ты, сверкавшая цепь фонарей.

И казались таинственным даром
Каждый угол, урочище, сад,
Ветви белые над тротуаром,
Нависавшие из-за оград.

И далёко внизу, под балконом,
Я едва различал, как во сне,
Что идёшь ты под снегом влюблённым
Не со мной, — не за мной, — не ко мне.

1929—1933

* * *

Ещё не брезжило. В лесу шуршала осень,
Когда, всё зачеркнув, я вышел на крыльцо

И капли тёмные с качающихся сосен
Мне ночь бездомная плеснула на лицо.

Ты выбежала вслед. Я обернулся. Пламя
Всех наших страстных дней язвило дух и жгло,
Я взял твою ладонь, я осязал губами
Её знакомый вкус и сонное тепло.

Я уходил – зачем? В ночь, по размытой глине,
По лужам, в бурелом хотел спешить – куда?
Ведь солнца ясного, садов и мирных лилий
В бушующей судьбе не будет никогда.

Я вырвался. Я шёл. О плечи бились сучья.
Я лоб прижал к стволу; ствол – в ледяной росе...
Кем для меня закрыт покой благополучья?
Зачем я осужден любить не так, как все?

1936

* * *

Над зыбью стольких лет незыблемо одна,
Чьё имя я шептал на городских окраинах,
Ты, юности моей священная луна
Вся в инее, в поверьях, в тайнах.

Я дерзок был и горд: я рвался, уходил,
Я пел и странствовал, томимый непокоем,
Я возвращался от обманчивых светил
В твои душистые покои.

Опять твоих волос прохладная волна
Шептала про ладью, летящую над пеной,
Что мимо островов несётся, пленена
Неотвратимою изменой.

Ты обучала вновь меня моей судьбе —
Круговращению ночей и дней счастливых,
И жизни плавный ритм я постигал в тебе —
Приливы моря и отливы.

Союзу нашему, привольному, как степь,
Нет имени ещё на языке народном.
Мы не твердили клятв. Нам незнакома цепь,
Нам, одиноким и свободным.

Кто наши судьбы сплёл? когда? в каком краю?

Туман предбытия непроницаем взору,
Но верность странную хранил я и храню
Несказанному договору.

Неясны до конца для нас ни одному
Ни устье, ни исток божественного чувства,
И лишь нечаянно блик озаряет тьму
Сквозь узкое окно искусства.

Да изредка в ночи пустынная тоска
Роясь, заискрится в твоём прекрасном взоре, —
Печаль старинных царств, под золотом песка
Уснувших в непробудном море.

Тогда смущенье нас и трепет обоймёт,
Мы разнимаем взор, молчим, страхась ответа,
Как будто невзначай мы приоткрыли вход
В алтарь, где спит ковчег завета.

Одна и та же мысль пронзит обоих нас,
И жизнь замедлит шаг – нежнее, чутче, строже,
И мы становимся друг другу в этот час
Ещё дороже.

<1923—1933>

Не шёпотом полураскрытых губ.
Она сходила громовым ударом,
Как молния в широколистный дуб.

Столкнув двоих, горячих, темнокудых,
Кипела вширь – разлив без берегов,
Не требуя благословенья мудрых,
Не спрашивая милости богов.

Молву жрецов, обычай рода, славу,
Суд человеческий, закон, позор,
Она сметала на пути, как лава,
Низринувшаяся по кручам гор.

Теперь язык из нежных звуков соткан.
В нём тишина и гладкая лазурь,
И плавно он качается, как лодка,
Давно забыв свободу древних бурь.

1935

* * *

Ослепительным ветром мая
Пробуждённый, зашумел стан:
Мы сходили от Гималая
На волнующийся Индостан.

С этих дней началось новое, —
Жизнь, тебя ли познал я там?
Как ребёнка первое слово
Ты прильнула к моим устам.

Всё цвело, – джунгли редели,
И над сизым морем холмов
Гонги вражьих племён гудели
В розовой мгле городов.

Но я умер. Я менял лики,
Дни быванья, а не бытиё,
И, как севера снег тихий,
Побледнело лицо моё.

Шли столетья. В тумане сиром
Я рождался и отцветал
На безмолвных снегах России,
На финляндском граните скал.

Только родины первоначальной
Облик в сердце не выжечь мне
Здесь, под дней перезвон печальный,
В этой сумеречной стране.

1931

Из дневника

...И вот упало вновь на милую тетрадь
От лампы голубой бесстрастное сиянье...
Ты, ночь бессонная! На что мне променять
Твоё томленье и очарованье?

Один опять. В шкафах – нагроможденье книг,
Спокойных, как мудрец, как узурпатор, гордых:
Короны древних царств роняли луч на них,
И дышит ритм морей в их сумрачных аккордах.
Но из широких чаш ещё струится вверх
Поблёкший аромат былых тысячелетий,
Как старое вино перебродивших вер,
Когда-то полных сил и радостных, как зори.
Мемфис, Микены, Ур, Альгамбра, Вавилон —
Гармония времён в их бронзе мне звучала,
Томленье терпкое мой дух влекло, вело,
По стёртым плитам их – к небесному причалу.

Сегодняшнюю ночь иной стране отдам —
Востоку дерзкому, возлюбленной отчизне,
Уйду на Ганг – по мудрым городам,
В истоках дней искать истоков жизни.

...И в смутный сон, где веют вайи,
Мечтой я властно погружён...
Над сонным сердцем, в пальцах Майи,
Жужжит веретено времён.
На месте гор – желтеют мели...
И в дней обратных череду
Я вспять от гроба к колыбели
Прозревшим странником бреду.

И вновь я застаю цветенье
Давно отцветших лепестков,
Благоухание веков —
Неизъяснимое волненье, —
Смертей, рождений лабиринт,
Моря, равнины и отроги...
И на восток, за жёлтый Инд,

Ложится пыль моей дороги.

1934

Миларайба

Позади – горы, белый шёлк снега,
А внизу – пажить и луг зелёный.
Там, внизу, – селенье:
Там идет стадо,
Пастухи смеются,
Мычат яки,
И с одной чаши – к другой чаше
Перепархивают по цветам пчёлы.

– Голоса Времени, – друзья сердца!

Это – лишь узоры, пёстрый шёлк Майи,
Это – только тени моего сознания,
Погружённого, навсегда слитно,
В Вечно-Сущее,
В глубину света...

– Голоса Времени, – плеск ручьёв жизни!

Зацвела Юность,
Как бутон мовы.
Я ушёл рано с белых гор Дзанга,
Я скитался долго по шумному миру,
Предаваясь страстям и бурям.
В городах – пели, трудились люди,
И купец в дороге понукал мулов...

– Голоса Времени! Игра Майи!

И в обитель скорбных я ушел, плача:
Бодисатв молил я, заклинал духов,
Духов злых и добрых,
Что в лесах и в реках,
И в порывах ветра снуют шумно...
И постиг ум мой:
Нет врагов у сердца,
Чей исток в небе, в Истинно-Сущем...

– Голоса Времени, – голоса братьев!

И теперь – только
Душистый ветер

Колыхает ветви над моей пещерой,
Да летят птицы,
Идут люди,
Прибегают волки вести беседу
О путях спасенья, о смысле жизни...

– Голоса Времени! Друзья сердца!

1935

Голоса веков

Палестинская мелодия

Гладит предутренный ветер вечно-священные
камни.
Над Галилеею грустной руки воздел муэдзин.
Лижет бесшумное время прах Вифлеема
и Канны,
И с минаретов вечерних слышно: Алла-иль-Алла.

Розовым встанут миражем храмы и рощи
Дамаска,
Жены под светлой чадрой нижут сапфир и опал.
Лишь набегающий ветер, волн благосклонная
ласка...
Смолкли призывные трубы Ангела, Льва
и Орла.

Но, как и прежде, задумчивы те же рыбацкие
мрежи,
Дремлют гроба крестоносцев, миррой и кедром
дыша,
И разноликие толпы молятся снова и снова,
К плитам Господнего Гроба с моря и суши спеша.

1930-е

Серебряная ночь Пророка

Над белостенною Меккою —
гибкой планеты хвост,
Дух песков накалённых
и острых могучих звёзд.
Звёзды вонзают в душу
тысячи звонких жал
Благоговейный трепет
сердце пророка сжал.
Слышится ближе, ближе
шум непомерных крыл:
Конь с человеческим ликом
россыпи неба скрыл;
Грива – белыми волнами, сам он – словно
туман;
Имя коню – Молния,

эль-Бохран.
Мчит пророка на север десятикрылый гонец,
Хлещет сирийский ветер,
 душит, и наконец,
Весь запылён пустынею,
 сполохами палим,
Сходит ночной наездник
 в спящий Иерусалим.
В уединённом храме
 ждут Моисей и Христос,
Вместе молятся трое
 до предрассветных рос.
И в выси, откуда Солнце
 чуть видимо, как роса,
Конь ездока возносит
 на Первые Небеса.

Иерархии гигантские ширятся впереди:
Между очами ангела – тысяча дней пути...
Но на последнее Небо глагол непреклонный звал:
Скрывают лицо Аллаха
 семьдесят покрывал,
И за покрывалами – голос, как ста водопадов
 шум,
Как опоясанный громом
 и молниями
 самум:
– Восстань и гряди, избранник, вдоль всех
 городов и стран,
Провозглашай народам
 Мой истинный Аль-Коран! —
Головокруженье... омут...
 отпрянувшие Небеса,
Звёзды, летящие вверх... Гаснущие голоса...
Толща холодных туч...
 Старый кирпич
 стен...
Ещё не остывшее ложе
 и плоти свинцовый плен.
По-прежнему бдит над Меккой
 белой кометы хвост,
Дух песков остывающих
 и острых могучих звёзд.

1933

Бар-Иегуда Пражский

Ветер свищет и гуляет сквозь чердак.
На гвозде чернеет тощий лапсердак.

Жизнь – как гноище. Острупела душа,
Скрипка сломана и сын похоронён...
Каждый вечер, возвращаясь без гроша,
Я, как Иов прокажённый, заклеимён.

Даже дети сквозь кухонный гам и чад
«Вон, явился Богом проклятый!» – кричат.

И за милостыней рынком семеня,
Гневом Вышнего терзаем и травим,
Я кусаю руку, бьющую меня,
Как бичуемый пророком Мицраим.

А в колодце полутёмного двора —
Драки, крики, перебранка до утра.

Разверну ли со смирением Талмуд —
Мудрость праотцев строга и холодна:
Точно факелоносители идут
С чёрным пламенем святые письма.

И тогда я тайну тайн, врата ворот,
Разворачиваю книгу Сефирот.

К зыби символов в двоящемся стихе
Приникаю, как к целебному ключу,
Имя Господа миров – Йод – хэ – вов – хэ —
Онемевшими устами лепечу.

Так сегодня я забылся, и во сне,
Вот, виденье громовое было мне.

Видел я одновременно все края,
Всё, что было и что будет впереди...
Синим сводом распростёрт над миром Я,
Солнце белое горит в моей груди.

Мириады светоносных моих рук
Простираются в волнующийся круг,

Свет и жар – неистощимые дары —
Мечет сердце, как бушующий костёр,

И, рождаясь, многоцветные миры
Улетают в раздвигаемый простор...

Я проснулся, полумёртвый. Тьма везде.
Лапсердак висит, как тряпка, на гвозде.

1935

* * *

Мне радостно обнять чеканкой строк,
 Как влагу жизни – кубком пира,
Единство цели, множество дорог
 В живом многообразье мира.

И я люблю – в передрагсветный миг
 Чистейшую, простую негу:
Поднять глаза от этих мудрых книг
 К горящему звездами небу.

Как радостно вот эту весть вдохнуть —
 Что по мерцающему своду
Неповторимый уготован путь
 Звезде, – цветку, – душе, – народу.

1935

Янтари

М. Г.

1

Усни, – ты устала... Гроза отгремела,
Отпраздновал ливень ночную весну...
Счастливому сердцу, счастливому телу
Пора отойти к беспечальному сну.

Светает... Свежеет... И рокот трамвайный
Уже долетел с городских площадей.
Усни, – я мечтаю над нашею тайной —
Прекрасною тайной цветов и детей.

И кажется: никнет бесшумная хвоя, —
Листва ли коснулась ресниц на весу?
Быть может, блаженные Дафнис и Хлоя
Дремали вот так в первозданном лесу.

Как будто сомкнулись прохладные воды,
Баюкая нас в колыбелях земли,
Скользящие тени с прозрачного свода
Поют, что над нами плывут корабли.

Плывут, уплывают... А сумрак всё ниже, —
Прощальную сказку шепчу кораблю...
Не думай: я здесь, я с тобою... Усни же,
Как я над рукой твоей милой дремлю.

2

В жгучий год, когда собирает родина
Плод кровавый с поля битв, когда
Шагом бранным входят дети Одина
В наши дрогнувшие города;

В дни, когда над каждым кровом временным
Вой сирен бушует круговой
И сам воздух жизни обесцененной
Едко сух, как дым пороховой —

В этот год само дыханье гибели

Породило память дней былых,
Давних дней, что в камне сердца выбили
Золотой, ещё не петый стих.

Как чудесно, странно и негаданно
Этот стих рождался – о тебе,
Без раздумий, без молитв, без ладана, —
Просто – кубок в золотой резьбе.

И прошла опять, как в сонном празднике,
Череда необратимых дней, —
Наше солнце, наши виноградники,
Пена бухт и влажный мох камней.

Может быть, таким лучом отмечено
Наше сердце было только раз
И непоправимо искалечены
Будем мы железной битвой рас.

Пусть же здесь хранится в звонком золоте
Этот мёд, янтарный и густой, —
Наша радость, наша кровь и молодость —
Дней былых сияющий настой.

3

Воздушным, играющим гением
То лето сошло на столицу.
Загаром упала на лица
Горячая тень от крыла, —

Весь день своенравным скольжением
Бездумно она осеняла
Настурции, скверы, вокзалы,
Строительства и купола.

И на тротуар ослепительный
Из комнаты мягко-дремотной
Уверенный и беззаботный
В полдневную синь выходя,
В крови уносил я медлительный,
Спадающий отзвук желанья,
Да тайное воспоминанье
О плеске ночного дождя.

А полдень – плакатами, скрипами,
Звонками справлял новоселье,

Роняя лучистое зелье
На крыши и в каждый квартал;
Под пыльно-тенистыми липами
Он улицею стоголосой
Со щедрым радушьем колосса
На пиршество шумное звал.

И в зелени старых Хамовников,
И в нежности Замоскворечья
Журчащие, легкие речи
Со мной он, смеясь, заводил;
Он знал, что цветам и любовникам
Понятны вот эти мгновенья —
Дневное головокруженье,
Игра нарастающих сил.

Каким становилась сокровищем
Случайная лужица в парке,
Гранитные спуски, на барке —
Трепещущих рыб серебро,
И над экскаватором роющим
Волна облаков кучевая,
И никель горячий трамвая,
И столик в кафе, и ситро.

Былую тоску и расколотость
Так странно припомнить рассудку,
Когда в мимолетную шутку
Вникаешь, как в мудрость царя,
И если предчувствует молодость
Во всём необъятные дали,
И если бокал Цинандали
Янтарно-звещающ, как заря.

Ведь завтра опять уготовано
Без ревности и без расплаты
Июньскою ночью крылатой
Желанное длить забытье,
Пока в тишине околдованной
Качается занавес пёстрый
Прохладой рассветной и острой
Целуемый в окнах её.

4

Сном, мимолётным, как слово,
Краткая ночь завершилась.

Многоголос и кипуч,

День занимался, и снова
Серое небо расшилось
Красным узорочьем туч.

Лишь обняла. Не сказала:
Вольное сердце – в плену ли?
Кинут приветливый дом:

Мощные своды вокзала...
Залы в рокошующем гуле...
Суতোлка над багажом.

Нет – подожди! Ещё рано!
В тёплое утро сырое
Ты мне как жизнь дорога.

Разве не горько и странно
Будет тебе, что не двое
Видят моря и луга?

Тамбур. Спешащие ключья
Толп, облаков, разговора,
Дыма и пара клоки...

И посмотрел я, как ночью,
В серые эти озера,
В эти дневные зрачки.

Что ты?.. Я вздрогнул. Навстречу
Сумрак роился бездонный,
Тихий, глухой, как вода,

Тот, что задолго до встречи
Стыл над вселенною сонной
И не пройдет никогда.

Может быть, то, что приснилось
Мне как бездумное счастье,
Было грозой и огнём?

Может быть, сердце склонилось,
Полное муки и страсти,
В чёрный, как смоль, водоём?

Лязгнули цепи вагонов,
Дрогнул рычаг в семафоре,
И, отпустив тормоза,

Прочь для степных перегонов
Поезд помчал твоё горе,
Облик твой, речь и глаза.

5

И не избавил город знойный
От тёмных дум,
Клубя вокруг свой беспокойный,
Нестройный шум.
Как острия протяжных терний,
Любой вокзал
Свои гудки из мглы вечерней
В мой дух вонзал.

Белесой гарью скрыт, как ватой,
Небесный румб;
Росток засох голубоватый
У пыльных клумб.
Скучая, вновь сойдутся люди
У тусклых ламп;
Ещё плотней сомкнутся груди
Громад и дамб...

Что без тебя мне этот город,
И явь, и сны,
Вся ширь морей, поля и горы
Моей страны?
Не верю письмам, снам не верю,
Ни ворожке,
И жизнь одним порывом мерю:
К тебе! К тебе!

6

Свисток. Степную станцию готов оставить поезд.
В замусоренном садике качнулись тополя,
Опять в окно врывается ликующая повесть
Полей, под солнцем брошенных, и ровная земля.

Привольный воздух мечется и треплет занавески,
Свистит ветрами шустрыми над плавнями Днепра,
Чтоб окоём лазоревый топить в лучистом блеске,
Купая в страстном мареве луга и хутора.

И если под колесами застонут рельсы громче
И зарябят за окнами скрещенья ферм нагих —
Реки широкоблещущей мелькнет лазурный кончик,
Смеющийся, как девушка, и плавный, точно стих.

Ах, если б опиралась ты о спущенную раму,
Играя занавесками вот этого окна, —
Ты, солнечная, юная, врачующая раны,
Моя измена первая и первая весна!

Уж розовеют мазанки закатом Украины,
И звёзды здесь огромные и синие, как лён,
А я хочу припомниться тебе на миг единый,
Присниться сердцу дальнему, как самый
 легкий сон.

7

Я помню вечер в южном городе,
В сухом саду ночлег случайный,
И над приморскою окраиной
Одну огромную звезду:

Твердыней гемуэзской гордости
Под нею крепость вырезалась
И коронованной казалась
Сквозь тамариск в моём саду.

Я знал: вдали, за морем плещущим,
За этой роскошью сапфирной
В ином краю дремоте мирной
Ты в эту полночь предана,
Но будет час – и утром блещущим
Ты с корабля сойдешь по сходням
Сюда, где кровь моя сегодня
Тебя зовет и ждет без сна.

Без сна... как долго сон медлительный
Ко мне в ту ночь не наклонялся!
С амфитеатра ритмы вальса
Лились кружащимся ручьём
И, учащая пульс томительный,
Твердили о чужом веселье,
О чьём-то юном новоселье,
Об отдаленном счастье... Чьём?

Они утихли только за полночь,
Но слабый шум не молк... откуда?
Иль город ровным, крепким гудом
Дышал в горячем забытии?
Иль, страстную внушая заповедь
Моей душе, неуловимо
Во мне стучало сердце Крыма
И направляло сны мои?

И я постиг во сне, как в празднике,
Лицо его утесов чёрных,
Полынь его лугов нагорных
И троп, кривых, как ятаган,
Его золотые виноградники,
Его оград булыжный камень
И плиты, стёртые веками
В святилищах магометан.

А там, у бухт, на побережьи,
Гордясь свободным, тёмным телом,
Шли, улыбаясь, люди в белом —
Таких счастливых нет нигде, —
И в этот край, живая, свежая,
От корабля путём желанным
Сошла ты солнцем долгожданным
По еле плещущей воде.

8

Кто там: медуза? маленький краб ли
Прячется вглубь, под камни?..
Светлые брызги! Звонкие капли!
Как ваша мудрость легка мне.

Ночью бродил я по сонным граням,
Вскакивал, грезил, бредил —
Как же не знал я, что утром ранним
Встал пароход на рейде?

И почему, увидав над дорогой
Пятнышко голубое,
Бросился к ней – гоним тревогой,
Мимо громад прибоя,

Мимо скамьи в уютной пещере,
Мимо оград, колодца...
Остановилась, – ждала, не веря:

Что за чудак несётся.

Дремлют в её серебристом взоре
Царств утонувших камни...
Белые дни! Янтарные зори!
Как ваша песнь легка мне!

9

Убирая завтрак утренний,
Ты звенишь и напеваешь,
И сметаешь крошки хлеба
Прямо в светлую ладонь;
В доме нежен сумрак внутренний,
А в окошке – синева лишь, —
То ли море, то ли небо —
Утра крымского огонь.

Там, мягчайшим бризом глажимый,
Парус млеет в знойном свете,
Нежа киль струёй прохладной
И не помня ничего...
Там, над бухтами и пляжами,
Воздух светится, и дети
Словно правнуки Эллады
Пьют, блаженные, его.

Хочешь – мы сквозь виноградники
По кремнистым перелогам
Путь наметим полудённый
На зубчатый Таракташ:
Там – серебряный, как градинки,
Мы попробуем дорогой
У татар миндаль солёный
И вино из плоских чаш.

Меж пугливыми отарами
Перевал преодолеем,
И пустыня нам предстанет
Вдоль по жёлтому хребту,
Будто выжженная карами,
Ураганом, суховеем,
Где лишь каперсы, как стая
Белых бабочек, в цвету.

Там айлантами и кедрами
Нам природа не предстанет,

Матерью зеленокудрой
Не приветствует гостей,
Только солнце вечно-щедрое
Любоваться не устанет
На своих счастливых, мудрых
На невинных двух детей.

И ни возглас человеческий,
Ни обвалов грозный голос
Не нарушат вековую
Тишь, открытую лучу,
Чтобы горы стали к вечеру
Облекать свой камень голый
В золотую, в голубую
Литургийную парчу.

И, синяя дымкой дальнею,
Розовея, лиловея,
Череду всех красок мира
Сменяют в стройном бытии,
Как во храме в ночь пасхальную
Чередуют иереи
Многоцветные подиры —
Ризы пышные свои.

День открыт нам всеми гранями:
Ритмом волн, блаженным жаром,
Родниками, лёгкой ленью,
Стайкой облаков, как пух, —
Чтоб, влекомые желаньями,
Шли мы вдаль, в его селенья,
За бесценным Божьим даром —
Страстью двух – и счастьем двух.

10

Оранжевой отмелью, отмелью белой
Вхожу в тебя, море, утешитель мой.
Волной, обнимающей душу и тело,
От горечи, пыли и праха омой.

Лишь дальних холмов мягко выгнутый выем
Да мирных побережий златые ковши
Увидят причастье безгрешным стихиям
Открытой им плоти и жгучей души.

Лучистые брызги так ярко, так близко

Сверкают, по телу скользя моему;
Я к доброму Солнцу, как жертвы, как искры,
Звнящую радугу их подниму!

Смотри, как прекрасен Твой мир вдохновенный
И в резвости волн, и в трудах мудреца,
Как светятся души в бездонной вселенной,
Пронзённые светом Твоим до конца!

11

Какое благовоние
От этих скал нагретых,
От древних парпетов
И крепостной стены!
Ты хочешь пить? – в колонии
У сонного платана
Журчит вода фонтана —
Святая кровь страны.

Испей её! И сразу же
Туман многовековый
Из влаги родниковой
В глубь сердца перейдёт
Поверьями, миражами,
Легендами пустыни
И грезами, что ныне
Едва хранит народ.

Он тек тысячелетьями
Бесшумно и незримо
По тёмным жилам Крыма,
У старых гор в груди...
Испей его. Ответь ему
Молчаньем и доверьем
Его седым преддверьем
В дух этих стран войди!

Сольются в мощном образе
Лады, дворцы, литавры,
Прохлада хижин, лавры
В полдневных городах,
В Отузах, Ялте, Форосе
Сады, как кущи рая,
И с крыш Бахчисарая
Протяжный стих: «Аллах!»

И жизни ритм властительный,
Державный и широкий
Почуешь ты в потоке
Мимолетающих дней,
Вот в этом утомительном
Подъёме в город знойный
И в горечи спокойной
Кладбищенских камней;

В дрожащей сини воздуха
Над будничным базаром,
Где некогда хазарам
Послушен город был,
И в шумном доме отдыха,
Где мчится мяч летучий,
Где жизни пульс кипучий
Не стынет, и не стыл.

12

Мы возвращались с диких нагорий,
И путь лежал вдоль самой воды;
Безгрозым бризом дышало море,
Лаская и сглаживая наши следы.

А бриз был праздничным, вечно юным,
Как будто с лугов Олимпийских нёс
Он радость богов для всей подлунной,
Для сердоликов, людей, мимоз.

Уже вечерело, и дом был близок —
Наш старый дом на милом холме:
Мы знали: он будет, как добрый призрак,
Белеть навстречу в горячей тьме.

Мы знали: там, на веранде зыбкой,
Увидим мы бедные руки той,
Кто всё это лето нам светит улыбкой,
Старческой мягкостью и добротой.

И будет пленительно сочетанье
У доброй феи любовных дней
Шутливой речи, глаз грустной лани,
И строгого лба старинных камей.

А после, в саду, сквозь ветки ореха
Тропических звёзд заблестит река,

И ночь обнимет нас смутным эхом
Прибоя у дальних скал Алчака...

Мы шли – и никто во всём мирозданье
Не властен был радость мою превозмочь,
Спокойную радость, простое знание,
Что ты – со мной, и что будет ночь.

13

Свеча догорает. Я знаю.
Над нами – бездонное море...
Какая дремучая тишь!..

Усни: к несравненному раю
Свела ты старинное горе
Души моей терпкой... Ты спишь?

А в горном собратстве на страже
Луной Тарахташ серебрится;
И в лунную кроясь фату,

Над сонмом склонившихся кряжей
Созвездья стоят, как божница, —
Торжественный зов в высоту.

О нет, высота не сурова, —
Там молятся о человеке...
Ты дремлешь? ты слышишь меня?

– Не вздох, не ответ: полуслово...
Рука недвижима; лишь веки
Раскрылись, дремоту гоня.

Всё глубже, – как в омуты; словно
В колодцы и шахты вселенной...
Как сладок и жгуч этот страх!

Да канет же сердце безмолвно
В ущерб глубины довременной,
В ещё не рожденных мирах.

Природа с такими очами
Зачатье у райского древа
От духа высот приняла...

Дитя моё! девочка в храме

С глазами праматери Евы,
Ещё не постигшими зла!

Свеча догорела. Над Крымом
Юпитер плывёт лучезарно,
Наполненный белым огнём...

Да будет же Девой хранимым
Твой сон на рассвете янтарном
Для радости будущим днём.

14

Я любил эти детские губы,
Яркость речи и мягкость лица:
С непонятною нежностью любят
Так березу в саду у отца.

Её легкая мудрость учила
Мою тёмную, тяжкую кровь,
Ибо если вся жизнь есть точило,
То вино – это только любовь.

Лишь порой этот ласковый говор
Отходил, замерев как волна,
Обнажая для солнца другого
Скорбный камень пустынного дна.

Сквозь беседы веранд многолюдных
Вспоминал я заброшенный путь
К ледникам, незабвенным и скудным,
Где от снежных ветров – не вздохнуть,

Где встречал я на узкой дороге
Белый призрак себя самого,
Небывало бесстрастный и строгий,
Прокаливший до тла естество...

И над срывами чистого фирна,
В негасимых лучах, в вышине,
Белый конус святыни всемирной
Проплывал в ослепительном сне.

Его холод ознобом и жаром
Сотрясал, как ударом, мой дух,
Говоря, что к духовным Стожарам
Узкий путь не назначен для двух.

И тогда, в молчаливом терпенье,
Ничего не узнав, не поняв,
Подходила она – утвержденье
Вековых человеческих прав.

И так сумрачно было, так странно
Слушать голос, родной как сестра,
Звавший вновь осушать невозбранно
Кубок радостной тьмы до утра.

15

О, не всё ль равно, что дума строгая
В тишине, подобно скрипачу,
Тайным зовом струны духа трогала
В эти дни, отверзтые лучу;
Заглушала еле внятной жалобой
Южных волн звенящую парчу...
Этой песнью, что как стон звучала бы,
Золотых стихов не омрачу.

Но грустней, грустней за листопадами
Солнце меркло в поздней синеве...
Гном-ноябрь меж грузными громадами
Оборотнем шмыгал по Москве.
Оседала изморозь бездомная
В побуревших скверах на траве,
И в крови заныла горечь тёмная,
Как вино в похмельной голове.

.....

В страшный год, когда собирает родина
Плод кровавый с поля битв, когда
Шагом бранным входят дети Одина
В наши сёла, в наши города —
Чище память, сердце молчаливее,
Старых распрь не отыскать следа,
И бывшее предстаёт счастливее,
Целокупней, строже, чем тогда.

Сохраню ль до смертных лет, до старости,
До моей предсмертной тишины
Грустный пламень нежной благодарности,
Неизбежной боли и вины?
Ведь не в доме, не в уютном тереме,

Не в садах изнеженной весны —
В непроглядных вьюгах ты затеряна,
В шквалах гроз и бурь моей страны.

Лишь не гаснут, лёгкие, как вестницы,
Сны о дальнем имени твоём,
Будто вижу с плит высокой лестницы
Тихий-тихий, светлый водоём.
Будто снова – в вечера хрустальные
Мы проходим медленно вдвоём
И опять, как в дни первоначальные,
Золотую радость жизни пьём.

16

Есть правда жестокая в подвиге ратном,
Но солнце любило наш мирный удел...
О солнце, о юности, о невозвратном
Окончена песня, и день догорел.

Вставай, моё терпкое, вещее горе,
Судьбу с миллионами судеб свяжи,
Веди с озарённых, прекрасных нагорий
Во мрак, на убийственные рубежи.

Уже не сомкнётся бесшумная хвоя,
Листва не коснётся ресниц на весу, —
Бездумно, как юные Дафнис и Хлоя,
Уже не уснём мы в блаженном лесу.

И если когда-нибудь наши дороги
Скрестятся в полночи – мы будем не те,
Что некогда шли на златые отроги,
Молясь облакам и своей красоте.

О, лишь не утратить бесценного дара —
Любви к этим солнечным, юным мирам,
Насквозь золотым от блистанья и жара,
Всегда совершенным, как эллинский храм.

Январь 1942

Зеленою поймой

Русские октавы

Мой край душистыми долинами
Цветёт меж дедовского бора.
Сосновых толп живые хоры
Поют прокимн, поют хвалу,
И множествами журавлиными
Лесные шелестят болота —
Заклятью верные ворота
В непроницаемую мглу.

Сквозь эту сказку вечно детскую
Прочтёт внимательная совесть
Усобиц, бурь, разбоев повесть
В преданьях хмурых деревень,
Где помнят ярость половецкую
Во ржи уснувшие курганы,
Где лес берёт от ятагана
Скитов молитвенную сень.

Разгулом, подвигом, пожарами,
Самосожженьями в пустыне
Прозванья сел звучат доныне:
Святое, Тёмное, Погар...
А под зарницами, за хмарами,
У гаснущей в цветах дороги,
Бдят непостиженные боги
Грядущих вер и светлых чар.

Ещё таинственней, вневременней
Живую глубь стихий почует,
Кто у костра один ночует
Над дружелюбною рекой,
Кто в этой вещи, мудрой темени
Души Земли коснется страстной,
Даст путь раскрыться ей, безгласной,
И говорить с его душой.

Здесь на полянах — только аисты,
И только цаплями изучен
Густой камыш речных излучин
У ветхого монастыря;
Там, на откосы поднимаясь, ты
Не обоймёшь страну очами,

С её бескрайними лесами,
Чей дух господствует, творя.

Есть в грозном их однообразии
Тишь притаившегося стана,
Есть гул бездонный океана,
Размах вселенской мощи есть,
Есть дремлющий, как в недрах Азии,
Ещё для мира нерождённый,
Миф, человечеству суждённый —
Грядущего благая весть.

В ней сочетались смолы мирные —
Дары языческого рая,
И дымных келий синь святая —
Тоска о горней высоте,
А ветер голоса всемирные
От городов несёт и моря,
С былою замкнутостью споря
За русские просторы те.

И если раньше грань отечества
Сужала наш размах духовный,
И замыкался миф верховный
В бревенчатую тесноту, —

Теперь простор всечеловечества
Ждёт вестника, томится жаждой,
И из народов примет каждый
Здесь затаённую мечту.

Нет, не державность, не владычество —
Иное крепнет здесь решение:
Всех стран – в сады преображенье,
А государства – в братство всех.
И страстные костры язычества,
И трепет свеч в моление клирном —
Всё – цепь огней в пути всемирном,
Ступени к Богу, звёзды вех.

К преддверью тайны уведите же
Вы, неисхоженные тропы,
Где искони с лучом Европы
Востока дальний луч скрещён,
Где о вселенском граде Китеже
Вещает глубь озер заросших,
Где спят во вьюгах и порошах
Побеги будущих времён.

1950

Брянские леса

Заросли багульника и вереска.
Мудрый дуб. Спокойная сосна...
Без конца, до Новгорода-Северска,
Эта непроглядная страна.

С севера, с востока, с юга, с запада
Хвойный шум, серебряные мхи,
Всхолмия, не вскопанные заступом
И не осязавшие сохи.

С кронами, мерцающими в трепете;
Мощные осины на юру...
Молча проплывающие лебеди
В потаенных заводях, в бору:

Там, где реки, мирные и вещие,
Льют бесшумный и блаженный стих,
И ничьей стопой не обещены
Отмели младенческие их.

Лишь тростник там серебрится перистый,
Да шумит в привольном небе дуб —
Без конца, до Новгорода-Северска,
Без конца, на Мглин и Стародуб.

1936

* * *

Исчезли стены разбегающиеся,
Пропали городские зданья:
Ярчеют звёзды зажигающиеся
Любимого воспоминанья.

Я слышу, как в гнездо укладываются
Над дремлющим затоном цапли,
Как сумерки с лугов подкрадываются,
Роняя голубые капли;

Я вижу очертаний скрадываемых
Клубы и пятна... мошки, росы...
Заречных сёл, едва угадываемых,
Лилово-сизые откосы;

Возов, медлительно поскрипывающих,
Развалистую поступь в поле;
Взлет чибисов, визгливо всхлипывающих
И прядающих ввысь на воле...

И в грёзе, жестко оторачиваемой
Сегодняшнею скорбной былью,
Я чувствую, как сон утрачиваемый,
Своей души былые крылья.

1950

Владимир

* * *

Тесен мой дом у обрыва,
Тёмен и тих... Вдалеке
Вон полуночная рыба
Шурхнула в чёрной реке.

В этом лесничестве старом
Робким огнём не помочь.
Даже высоким Стожарам
Не покоряется ночь.

Издали, сквозь немеречу,
Где бурелом и лоза —
Жёлтые, нечеловечьи,
Нет, и не волчьи глаза.

Там, на глухих Дивичорах,
Где пропадают следы —
Вкрадчивый шелест и шорох
Злого костра у воды.

И, в непонятном веселье,
Древнюю власть затая,
Варит дремучее зелье
Темная ворожея.

Плечи высокие, пряди
У неподвижного лба.
В бурых руках и во взгляде —
Страсть моя, гибель, судьба.

Тайну её не открою.
Имя — не произнесу.

Пусть его шепчет лишь хвоя
В этом древлянском лесу.

Только не снись мне, не мучай,
Едкою хмарой отхлынь,
Вылей напиток дремучий
На лебеду и полынь.

1939

Дивичорская богиня

Вновь с песчаного Востока дует
Старый ветер над полями льна...
А когда за соснами колдует
Поздняя ущербная луна —

То ль играют лунные седины
По замороженному овсу,
То ли плачет голос лебединый
С Дивичорских заводов, в лесу.

И зовёт к утратам и потерям,
И осины стонут на юру,
Чтоб в луну я научился верить —
В первородную твою Сестру.

Верю! знаю! В дни лесных становий
Был твой жертвенник убог и нищ:
Белый камень, весь в подтёках крови,
Холодел у диких городищ.

В дни смятенья, в час тревоги бранной
Все склоняли перед ним копье,
Бормотали голосом гортанным
Имя непреклонное твоё.

Брови ястребиные нахмуря,
Над могучим камнем колдуны
Прорицали, угрожая бурей
И опустошением страны;

Матери — их подвиг не прославлен —
Трепетали гласа твоего.
Чей младенец будет обезглавлен?
Перст твой указывает — на кого?..

А когда весной по чернолесью

Вспыхивали дымные костры
И сиял в привольном поднебесьи
Бледно-синий взор твоей Сестры,

И когда в листве любого дуба
Птичий плеск не умолкал, и гам,
А призыв тоскующего зубра
Колыхал камыш по берегам —

По корням, по стеблю, в каждый колос,
В каждый ствол ореха и сосны
Поднимался твой протяжный голос
Из внушавшей ужас глубины.

Но теперь он ласков был, как пенье
Серебристой вкрадчивой струи,
И ничьи сердца твое веленье
Не пугало в эту ночь: ничьи.

Барбарис, багульник, травы, злаки
Отряхали тяжкую росу
И, воспламенённые во мраке,
Рдели странным заревом в лесу.

А в крови — всё явственней, всё выше,
Точно рокот набухавших рек,
Точно грохот ледохода слышал
Каждый зверь — и каждый человек.

Били в бубен. Закипала брага;
Запевал и вился хоровод
Вдоль костров в излучинах оврага
До святого камня у ворот.

Пламя выло. Вскидывались руки,
Рокотали хриплые рога:
В их призывном, в их свободном звуке
Всё сливалось: сосны, берега,

Топот танца, шкуры, брызги света,
Лик луны, склонённый к ворожке...
А потом, до самого рассвета,
Жертвовали ночь свою — тебе.

...Верю отоснившимся поверьям,
Снятся незапамятные сны,
И к твоим нехоженным преддверьям
Мои ночи приворожены.

Вдоль озер брожу насторожённых,
На полянах девственных ищу,
В каждом звуке бора – отражённый
Слышу голос твой, и трепещу.

А кругом – ни ропота, ни бури:
Травы, разомлевшие в тепле,
Аисты, парящие в лазури
С отблесками солнца на крыле...

И лишь там, на хмурых Дивичорах,
Как в необратимые века,
Тот же вещий, серебристый шорох
Твоего седого тростника.

1939

* * *

О, не так величава – широкою поймой цветущей
То к холмам, то к дубравам ласкающаяся река,
Но темны её омуты под лозняковыми кущами
И душа глубока.

Ей приносят дары – из святилищ – Нерусса
цветочная,
Шаловливая Навля, ключами звенящая Знобь;
С ней сплелись воедино затоны озёр непорочные
И лукавая топь.

Сказок Брянского леса, певучей и вольной
тоски его
Эти струи исполнены, плавным несясь серебром
К лону чёрных морей мимо первопрестольного
Киева
Вместе с братом Днепром.

И люблю я смотреть, как побережьями, зноем
сожжёнными,
Загорелые бабы спускаются к праздной воде,
И она, переливами, мягко-плескучими, сонными,
Льнёт к весёлой бадье.

Это было всегда. Это будет в грядущем, как
в древности,
Для неправых и правых – в бесчисленные
времена,
Ибо кровь мирозданья не знает ни страсти,

ни ревности,
Всем живущим – одна.

1950

Весной с холма

С тысячелетних круч, где даль желтела нивами
Да тёмною парчой душмяной конопли,
Проходят облака над скифскими разливами —
Задумчивая рать моей седой земли.

Их белые хребты с округлыми отрогами
Чуть зыблются, дрожа в студёных зеркалах,
Сквозят – скользят – плывут подводными
дорогами,
И подо мной – лазурь, вся в белых куполах.

И видно, как сходя в светящемся мерцании
На медленную ширь, текущую по мху,
Всемирной тишины благое волхновение,
Понятное душе, свершается вверх.

Широко распластав воздушные воскрылия,
Над духами стихий блистая как заря,
Сам демиург страны в таинственном усилии
Труждается везде, прах нив плодотворя.

Кто мыслью обоймёт безбрежный замысл Гения?
Грядущее прочтёт по диким пустырям?
А в памяти звенит, как стих из песнопения:
Разливы рек её, подобные морям...

Всё пусто. И лишь там, сквозь клёны
монастырские,
Безмолвно освещён весь белый исполин...
О, избранной страны просторы богатырские!
О, высота высот! О, глубина глубин!

1950

Плотогон

Долго речь водил топор
С соснами дремучими:
Вырублен мачтовый бор
Над лесными кручами.

Круглые пускать стволы
Вниз к воде по вереску.
Гнать смолистые плоты
К Новгороду-Северску

Эх,
май,
вольный май,
свистом-ветром обнимай.

Кружит голову весна,
Рукава засучены, —
Ты, река моя, Десна,
Жёлтые излучины!
Скрылись маковки-кресты
Саввы да Евтихия,
Только небо да плоты,
Побережья тихие...

Ширь,
тишь,
благодать, —
Петь, плыть да гадать!

Вон в лугах ветрун зацвёл,
Стонут гулом оводы,
Сходят девушки из сёл
С коромыслом по воду:
Загородятся рукой,
Поманят улыбкою,
Да какой ещё, какой!
Ласковой... зыбкою...

Эх,
лес,
дуб-сосна!
Развесёлая весна!

Скоро вечер подойдет —
Вон, шесты уж отняли,
Пришвартуем каждый плот
У песчаной отмели.
Рдеет мой костер во тьму,
Светится, кудрявится,
Выходи гулять к нему
До зари, красавица.

А
там —

и прости:
Только чуть погрусти.

Завтра песню запою
Про лозинку зыбкую,
Про сады в родном краю —
В Брянске, в Новозыбкове.
Жизнь вольготна, жизнь красна,
Рукава засучены, —
Ты, река моя, Десна,
Жёлтые излучины.

1936

* * *

Над Неруссой ходят грозы,
В Чухрах грохочет гром, —
Бор, стога, ракиты, лозы —
Всё украсив серебром.

Весь в широких, вольных взмахх,
По траве, сырой от рос,
Бродит в вышитых рубахах
Буйной поймой сенокос.

Только ты, мой холм безлесный,
Как раздел грозовых туч,
В синеве блестяшь небесной
Меловым изгибом круч.

Плещут весла перевоза
У побережья: там, внизу,
Ярко-красные стрекозы
Плавно никнут на лозу.

А поднимешься на гребень —
Сушь, бурьяны, знойный день,
Белых срывов жгучий щебень,
Пятна дальних деревень...

Льнут к нему леса и пашни,
Как дружина к королю...
Я люблю его как башню:
Высь дозорную люблю.

1934

Памяти друга

Был часом нашей встречи истинной
Тот миг на перевозе дальнем,
Когда пожаром беспечальным
Зажглась закатная Десна,
А он ответил мне, что мистикой
Мы правду внутреннюю чуем,
Молитвой Солнцу дух врачуем
И пробуждаемся от сна.

Он был так тих – безвестный, седенький,
В бесцветной куртке рыболова,
Так мудро прост, что это слово
Пребудет в сердце навсегда.
Он рядом жил. Сады соседили.
И стала бедная калитка
Дороже золотого слитка
Мне в эти скудные года.

На спаде зноя, если душная
Истома нежила природу,
Беззвучно я по огороду
Меж рыхлых грядок проходил,
Чтоб под развесистыми грушами
Мечтать в причудливых беседах
О Лермонтове, сагах, ведах,
О языке ночных светил.

В удушливой степной пыли моя
Душа в те дни изнемогала.
Но снова правда жизни стала
Прозрачней, чище и святей,
И над судьбой неумолимою
Повеял странною отрадой
Уют его простого сада
И голоса его детей.

Порой во взоре их задумчивом,
Лучистом, смелом и открытом,
Я видел грусть: над бедным бытом
Она, как птица, вдаль рвалась.
Но мне – ритмичностью заученной
Стал мил их труд, их быт, их город.
Я слышал в нём – с полями, с бором,
С рекой незыблемую связь.

Я всё любил: и скрипки нежные,
Что мастерил он в час досуга,
И ветви гибкие, упруго
Нас трогавшие на ходу,
И чай, и улы белоснежные,
И в книге беглую отметку
О Васнецове, и беседку
Под старой яблоней в саду.

Я полюбил в вечерних сумерках
Диванчик крошечной гостиной,
Когда мелодией старинной
Звенел таинственный рояль,
И милый сонм живых и умерших
Вставал из памяти замглённой,
Даря покой за путь пройденный
И просветлённую печаль.

Но всех бесед невыразимее
Текли душевные встречанья
В полу-стихах, полу-молчаньи
У нелюдимого костра —
О нашей вере, нашем Имени,
О неизвестной людям музе,
О нашем солнечном союзе
Неумирающего Ра.

Да: тёмные, простые русичи,
Мы знали, что златою нитью
Мерцают, тянутся наитья
Сюда из глубей вековых,
И наша светлая Неруссочка,
Дитя лесов и мирной воли,
Быть может, не любила боле
Так никого, как нас двоих.

Журчи же, ясная, далекая,
Прозрачная, как реки рая,
В туманах летних вспоминая
О друге ласковом твоём,
О том, чью душу светлоокую
В её надеждах и печали,
В её заветных думах, знали,
Быть может, ты и я – вдвоём.

* * *

Чуть колыхнется в зное,
Еле внятно шурша,
Тихошумная хвоя,
Стран дремучих душа.

На ленивой опушке,
В землянике, у пней,
Вещий голос кукушки
Знает счёт моих дней.

Там, у отмелей дальних —
Белых лилий ковши,
Там, у рек беспечальных,
Жизнь и смерть хороши.

Скоро дни свои брошу
В эту мягкую глубь...
Облегчи мою ношу.
Приласкай, приголубь.

1939

Из дневника

На день восьмой открылся путь чугунный,
Лазурных рельсов блещущий накал:
Они стремились на восток, как струны,
И синий воздух млел и утекал.

Зной свирепел, как бык пред стягом алым:
Базарный день всех поднял ото сна,
И площадь добела раскалена
Была перед оранжевым вокзалом.

То морс, то чай в трактире под окном
Я пил, а там, по светло-серой пыли,
Сновал народ и женщины спешили
За ягодами и за молоком.

Мужчины, женщины – все были смуглы,
И, точно абиссинское шоссе,
Следами пальцев, маленьких и круглых,
В глаза пестрили мостовые все.

По рынку ли, у чайных, у застав ли
Я проходил – народ кишел везде,
Был выходной, и множество из Навли
Брело на пляж: к воде! к воде! к воде!

Плоть жаловалась жаждою и потом.
Когда же звёзды блёклые взошли,
Я услышал глухую дрожь земли,
Свисток и гул за ближним поворотом.

Восторг мальчишеской свободы есть
В гремящей тьме ночного перегона:
Не заходя в дремотный чад вагона,
На мчащейся его подножке сесть,

Сощурившись от острых искр и пыли,
Сжав поручень, пить быстроту, как хмель,
Чтоб ветром злым в лицо хлестали крылья
Ночных пространств – небес, озер, земель.

Как весело, когда поют колеса,
Здесь, под рукой, грохочут буфера!
Едва заметишь – мост, огни, откосы,
Блеск лунных рек, как плиты серебра,

А из лесов – протяжный, дикий, вкусный
Росистый дух с лужаек в глубине...
...Ход замедляется: навстречу мне
Душмяным мраком дышит пост «Нерусский».

Кто знает, чем волнует нашу кровь
Такой полет в двоящемся пространстве,
И что за демон безрассудных странствий
Из края в край нас гонит вновь и вновь.

Но хорошо таёжное скитанье
Холодным лязгом стали пересечь,
Всех токов жизни дрожь и трепетанье
Пить залпом, залпом и в стихе сберечь.

1936

Базар

Хрупки ещё лиловатые тени
И не окреп полуденный жар,
Но, точно озеро
в белой пене,
В белых одеждах
летний базар.

Мимо клубники, ягод, посуды,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.